

**Василий Александрович
Вонлярлярский**

Ночь на 28-е сентября

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Василий Александрович Вонлярлярский

Ночь на 28-е сентября / Василий Александрович Вонлярлярский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 82 с.

ISBN 978-5-4241-2507-2

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века. Повесть впервые опубликована в журнале «Отечественные записки» (1852, № 4–5). Интерес Вонлярлярского к роли легенд и преданий в жизни общества, попытка вскрыть рациональную их природу не были замечены критиками, порицавшими чрезмерную запутанность интриги и обилие случайностей, из которых складывается сюжет «Ночи на 28-е сентября».

ISBN 978-5-4241-2507-2

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Василий Вонлярлярский
Ночь на 28-е сентября

Часть первая

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Графиня Наталья С. к Софье Р.

Ужасно, Софья! Представить себе не могу, мой друг что наконец наступило время переписки, что вздохи мои ты услышишь только через неделю, что на жалобы мои ты будешь отвечать через две, а увидимся мы бог весть когда! И эту тоску, и это страдание доктора величают отдохновением – какая страшная мистификация! Вообрази себе, что мы живем в превысоких стенах, обтянутых не лионской тканью, а паутиною, что с закопченных потолков смотрят на нас какие-то опухлые богини, со стен – престранные предки, из-за дверей выглядывают сотни старых слуг, а из окон – черемуха. Отец в восторге от всего этого, а я чуть не плачу... И всем этим придется наслаждаться целые шесть месяцев! *C'est en devenir folle!* право! Кстати, скажи моей доброй Miss Thon, чтобы она ради бога не высылала мне ни одной вещицы из моего кабинета, ни одной шляпки, ни одного платья, а прислала бы резиновый колпак, галоши и, если можно, маек от пчел и комаров; вот все, что необходимо мне в это несносной пустыне. Мы дотащились сюда в субботу вечером. В воскресенье отец завал прямо из церкви легион соседей и соседок. Что за люди, *ma chigre!*² Ты не согласишься: на девицах перчатки с отрубленными пальцам? В девять часов я уснула от тоски и усталости. Отца начинаю не любить: он смеется и дразнит меня как ребенка. В спальню влетела летучая мышь; в камине всю ночь кричал сверчок; я спала дурно, проснулась презлая, вышла в сад. Елки там обстрижены *a la mal content*,³ старые бабi начали обнимать и целовать меня. Потом привели мою верховую лошадь; я обрадовалась ей до слез. Папа счастливее, чем когда-нибудь; еще неделя – и я чувствую, что мы пресерьезно поссоримся. Какой нестерпимый эгоизм! заставить меня переселиться с Елагина в Скорлупское... милое название, не правда ли? – и переменить невозможно. За ужином нам подали карасей со сметаной, *c'est tris bon, ma chigre*,⁴ папа ел за четверых; он делается *mauvais genre*,⁵ того и смотрю, что наденет полевик; даже манеры его портятся, а картуз... какой картуз! нет, я украду его и сожгу непременно. Мне грустно. Писать долее не в силах; я рассержена, я сделаю ему сцену... этому картузу. Прощай, Софья, и пожалей меня!

Увидишь Надину, скажи, что мы блаженствуем. Хорошо блаженство...

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Не могла выдержать, чтоб не написать; завтра почта и посылают в город. Вообрази себе, мой друг, что городом называют здесь грязную улицу, обставленную маленькими кривыми домами, из досок, кажется, цветом похожих на шафран и земляные груши; в лавках рядом с пастилою лежит желтое мыло и сальные свечи; у двери вяжет чулок безобразная баба, и перед ней – о ужас! прегрязные сельди в корыте, и с ними пустые помадные банки. Папа требует, чтобы я была у всех с визитом; для этого я имела глупость надеть мое любимое платье глаسه, и не знаю где, но, вероятно, прежде меня, у кого-нибудь на диване сидели птицы:

прости, платье! Я объявила отцу, что больше не поеду и предпочитаю заключиться в нашем Скорлупском. Впрочем, это Скорлупское очень недурно; природа наделила его некоторыми прелестями, которые, при другой обстановке, произвели б большой эффект. Во-первых, в нескольких шагах от балкона течет Днепр. В первые дни погода была ясная, тихая, и я было его не заметила, но вчера из-за роши поднялась туча и скоро обложила горизонт; сначала дунул ветер, и верхи дерев зашевелились, но туча поднялась еще выше, солнце скрылось, ветер сделался сильнее, и бор заревел так громко, что мне стало страшно; когда же ветер превратился в вихрь, а вековые сосны зашатались, я невольно взглянула по направлению реки, и тогда только, та шиге, внутренне созналась, что, не сделав визита соседу, поступила очень невежливо. И Днепр имел полное право сердиться: он был истинно прекрасен; смотря на гнев этот с трепетом, я была от него в восхищении. Нева очаровательна; волны ее и светлы и прозрачны; в самую бурю все движения ее как-то плавны, грациозны; не внушает она ни боязни, ни страха; катясь по роскошной набережной, мимо великолепных дворцов или прелестных дач, мы едва замечаем волнение Невы; но не таков Днепр – этот древний исторический Днепр! За несколько минут до бури я едва заметила его в зеленой чаще ив: тогда он, как вежливый старик, обходил осторожно каждый кустик, каждую травку, казалось, уклонялся от всякого столкновения голубой струи своей с песчаным берегом... и тот же Днепр, при первом взрыве вихря, при первом стоне бури мгновенно вырос, поседел, и с ужасным ревом стал раздирать землю!.. Как ничтожны показались тогда неприступные скалы, еще недавно смотревшиеся в него с гордостью! как низко поклонился ему исполинский лес, а меня, конечно, он и не заметил! В девятом часу звон колокола (у нас звонят а *grupos de tout*⁶), позвал меня к чаю.

Весь вечер я с отцом просидела вдвоем, в его кабинете; папа читал мне до самого ужина фамильные легенды; время прошло скоро: и страшно и приятно было! Предания эти так оригинально любопытны, что я не могу не передать их тебе, мой друг, во всей подробности. Вычитали мы их в престаринной книге, переплетенной в позолоченную кожу с медными украшениями, а книгу эту отец нашел в библиотеке своего прадеда, прежнего владельца Скорлупского; на портрете прадед кос, но, может быть, в натуре этого не было. Слушай же. Ты, конечно, знаешь, та шиге, что губерния наша в древние времена неоднократно переходила то к России, то к Польше и, находясь на границе, служила театром непрерывных войн; нет уголка земли, говорит папа, на котором не находили б человеческих костей или оружия; рассказам о кладах нет конца – преинтересная страна! Фамилия же графов С. была некогда польская, а легенда относится к той эпохе, когда первый предок наш принял греческую веру. Вспомнить не могу – так страшно это предание! Вот видишь ли, мой друг, в тех самых стенах, где мы живем теперь, жил некогда пресердитый и пребогатый пан; границы владений его заходили далеко за Днепр; леса были дремучие; в них содержал он, под видом пограничной стражи, просто разбойников и, пользуясь вечными смутами, творил такие злодейства, которым в наше время не решаешься верить. Например, в тех самых погребах, где у нас хранятся яблоки, раздавались по ночам жалобные стоны заключенных; на дворе производились казни, пытки, словом, всякого рода ужасы. Большую часть жертв его составляли жиды; в глазах пана жид и виноватый были слова однозначные, а ограбить жида, замучить, уничтожить – ровно

ничего не значило. Пан смеялся, глядя на слезы жидов, и приходил в бешенство, когда красавица-жена его пыталась смягчить участь страждущих; он даже, вообрази себе, та чиге! бивал ее иногда в присутствии пировавших с ним гостей, И скоро вогнал ее в могилу. Единственное существо, с которым он обходился ласково, был сын, прекрасный молодой человек, воспитанный в Варшаве, где воспитывалась вся блестящая молодежь того времени. Молодой человек был очень красив, ловок, статен и сводил с ума всех девушек в окрестности; он увозил некоторых из них, прятал в лесах и потом снова отсылал к родителям, которые, боясь пана, молчали и не смели жаловаться. Смежно с его землями находилось владение небогатого, но известного своими заслугами русского боярина; у боярина было двое детей: сын, служивший в московских дружинах, и дочь, молодая девушка, красоты необыкновенной. Старик-отец страстно любил обоих и, разлучась с сыном, хранил дочь, как единственное утешение, как сокровище, в пожертвовании которым отечество не нуждалось. Весть о чрезмерной красоте Ирины дошла до слуха молодого человека, который поклялся употребить все, чтобы овладеть ею. Так как отец был верным помощником во всех постыдных делах его, то он, без сомнения, прибегнул бы к его пособию и открытою силою мог вырвать дочь из рук отца; но такой поступок мог обратить на него внимание русского правительства, и пан решился ожидать благоприятнейшего случая, который не замедлил представиться. Польский королевич Владислав признан был в Москве царем русским, и в то же время Сигизмунд осадил Смоленск. Поляки торжествовали. Ты понимаешь, мой друг, что я касаюсь истории вскользь, а потому и скажу тебе только, что различными происками прадед наш успел оклеветать соседа своего, боярина, и получить от короля Сигизмунда полномочие задерживать боярина и представить его на суд поляков. Защищаться против вооруженной силы было невозможно, и боярина не только взяли, но и умертвили, будто бы в схватке; дочь его между тем успела скрыться. На след ее напущена была целая стая собак, приученных паном к подобным розыскам; действиями ее управлял сам молодой человек. В глухую осеннюю полночь озлобленные животные достигли в лесной чаще потаенного входа никому до того не известной пещеры и с страшным воем принялись рыть землю; подскавав к пещере, которая должна была скрывать несчастную девушку, молодой человек соскочил с лошади, отыскал отверстие, едва прикрытое наскоро придвинутым камнем, выхватил меч и стал отодвигать камень, который уступил силе; но вместо ожидаемой жертвы ему предстал какой-то пустынный; он осенил его крестным знаменем и именем бога заклинал не идти далее. Удар меча был ответом на эти слова. Обагранный кровью, пустынный поднял руку, молча указал на убийцу, и в тот же миг многочисленная стая собак с бешенством бросилась на своего повелителя. Терзаемый со всех сторон молодой человек огласил воздух таким адским хохотом, что вся окрестность дрогнула; звери завывали, а в соседних селах колокола сами собою загудели протяжно и заунывно. Что случилось с боярской дочерью и с пустынным – неизвестно; но легенда гласит, что ровно через год, в полночь, дремучий лес на огромное расстояние огласился тем же смехом, и в продолжение нескольких минут вторил ему и рев собак, и вой зверей, и заунывный голос колоколов. Старый пан крепко задумался и стал молиться; еще прошел год – то же явление. Отец погибшего сына на месте чудного происшествия заложил обитель, принял православную веру и постригся. Ближайший наследник вступил во

владение всем богатством панским, а обитель существует и теперь. Вот тебе, та сниге, и легенда; она страшна, но еще страшнее то, что все жители Скорлупско-го утверждают (чему хоть и страшно, а хочется верить), будто бы двадцать восьмого сентября, ровно в полночь, даже из нашего древнего дома явственно слышен и хохот, и лай, и вой, и звон. Я спрашивала у отца, верит ли он этим рассказам, и ожидала обыкновенной его улыбки, но, к удивлению моему, он подумал, пожал плечами и не отвечал ни слова.

Как тебе это нравится? Что же касается до меня, то я положила у самой постели своей двух горничных... Прощай покуда, Sophie, и напиши, ради дружбы нашей, каков был бал у княгини Б... и кто больше всех произвел фурор. Бог мой, какая тоска у нас!.. А Днепр очень хорош!

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Нет, не пиши мне таких писем, друг мой, Sophie! Когда я читаю их, настоящая жизнь моя становится еще несноснее. Ты в Павловске блаженствуешь, а я, бедная: я!.. И еще целые пять месяцев подобных! И все это для здоровья, когда можно умереть с тоски! Ты говоришь, что какой-то Поль Старославский собирается приехать в наше соседство; но кто же этот несчастный? и может ли он быть порядочным человеком, если собирается променять Петербург на нашу глушь? Вероятно, больной; впрочем, по описанию твоему я заключила, что будущий сосед наш не гвардеец – плохое утешение! Папа желает свозить меня к одной из дальних его родственниц; там ярмарка и, кажется, домашний спектакль. О первой я не имею никакого понятия; последний воображаю. Мы едем на днях. Единственным рассеянием нашим во все это время был здешний исправник, человек лет сорока, рябой, с золотой цепью на шее. Для того чтобы мне понравиться, он изобрел прескучную вещь: мы по целым суткам удим рыбу, и исправник надевает своими руками живых червяков на крючки. Можешь представить, как противен мне его способ нравиться? Я, впрочем, убеждена, что со временем буду очень довольна теперешним пребыванием своим в деревне. В столице никто из нас не имеет никакого понятия о провинциальной жизни: этот мир так мало походит на наш обыкновенный, что, случайно увидев его, непростительно было бы не изучить нравов и обычаев этого неизвестного мира. Не думай, однако ж, чтоб однообразная, скучная для нас жизнь в деревне не имела своей поэзии, чтоб и в самом скромном крестьянском быту не было своих прелестей. Я еще не сроднилась с этой поэзией, не постигаю, не понимаю ее и прислушиваюсь иногда к отдаленному шуму воды, кваканью лягушек, заунывной песне прохожего, а главное – к пению соловья, не в клетке, не в тесном цветнике, но в темной, густой чаще бесконечной рощи. Признаюсь, тебе, сниге amie⁷ на сердце происходит у меня что-то чудное, что-то новое, одним словом, что-то такое, чего не ощущаем мы, даже танцую редову... Возвращаюсь к Скорлупскому. Чем больше знакомлюсь с ним, тем более мирюсь со своею новою жизнью, и повторяю, что, будь ты со мной, Sophie, да еще два-три человека поинтереснее, я согласилась бы прожить тут, пожалуй, целые пять месяцев. Доктор приказал мне вставать почти с солнцем, гулять много, обедать рано и рано ложиться. Знойный полдень скучен, но вечер иногда, право, очень мил. В одной из ближних деревень отыскалась моя кормилица, простая, но добрая женщина; она плакала, целуя меня; в первый визит принесла она мне курицу, которую я кормлю сама; во второй еще курицу; а

третьего дня я отправилась к ней в гости пешком. С первого взгляда бедность и даже нищета кормилицы привели меня в отчаяние, я понять не могла, как можно довольствоваться двумя темными избами, в которых нет ни мебели, ни даже фаянсовой посуды; мне стыдно было расспрашивать ее о причинах подобных лишений, но, вообрази себе, кормилица не только не жаловалась на судьбу, а напротив, с гордостью стала хвастать своею роскошью, достатком и за каждым словом превозносила доброту папа. Три часа просидела я у этой доброй женщины, осмотрела ее садик, не больше моего кабинета, ее огород, телят, птиц и внучат и все хозяйство; оказалось, что вообще крестьяне наши пресчастливым народ, и, в доказательство этой истины, кормилица преважно объявила мне, что у каждого мужичка по две лошади кругом на душу. Je n'y comprends rien,⁸ но все равно... До дому провожали меня девушки всей деревни; они так громко пели, и пели такой вздор, что мне становилось за них совестно. Костюмы здешних девушек и в особенности их талии не изящны, это правда; но к ним привыкли, и потому бог с ними! Желая поблагодарить их за песни и сделанный мне прием, я хотела раздать девушкам несколько вещей, которых у меня так много, но папа уверил меня, что подобные подарки никогда не будут вполне оценены, и, взамен их, он приказал целую неделю не требовать девушек ни на какие работы. Весть эта возбудила всеобщий восторг; песни превратились в радостный крик, а к песням присоединились танцы, но такие танцы, которых описать нет никакой возможности. День кончили мы в обществе сельского священника, также лица для меня нового. В нем нет ни педантизма, ни претензий; он должен быть очень добр. В десять часов мы разошлись. Не желая спать, я в первый раз прочла несколько страниц одного русского журнала; мне попался разбор книг: какие неприятные вещи говорят друг другу русские авторы. Впрочем, некоторые замечания очень остроумны, и я невольно смеялась.

На следующий день.

Ночью была страшная гроза; град разбил стекла, уничтожил цветы в саду и побил поля. Папа говорит, что какой-то хлеб пострадал и вся надежда на другой; tout cela est du grec pour moi,⁹ а жаль мужичков! До самого утра дождь, ударяя в крышу, производил шум, который, мешаясь с отдаленными перекатами грома, расположил меня к самому сладкому сну. Солнце пышно осветило грустную картину всеобщего беспорядка... Деревья были местами поломаны, а дорожки изрыты глубокими промоинами. К полудню все просияло, и я отправилась взглянуть на Днепр: он был мутен и быстр; на желтоватом гребне своем нес он части строений, бревна и множество предметов, которые рассмотреть было трудно. За всем этим гоняются смелые рыбаки в миниатюрных лодочках; при мне одна из них опрокинулась – и как бы ты думала, мой друг, что сделали другие рыбаки, смотря на своего падавшего в воду товарища? они расхохотались и не только не оказали ему никакой помощи, но, напротив, мешали несчастному выйти на берег; впрочем, смеялся больше всех сам утопавший, который брызгал на веселое общество водою и не потрудился даже переменить одежды. Quels hommes!¹⁰ Папа уверяет, что прибрежные жители Днепра ныряют как утки; а ежели иногда тонут, то это только по собственному желанию, чего, впрочем, почти никогда не случается. Кстати о Днепре! В 1812-м году, когда уничтоженное французское войско бежало из России, маршал Ней с арьергардом два раза вынужден был пройти в окрестностях наших через реку и оставил на дне ее большую

часть своих сокровищ. По словам некоторых стариков крестьян, помнящих события, полные фуры золота и прочих драгоценностей следовали за маршалом, а кому неизвестно, в каком положении соединился он с главной армией своею. Какое поприще для искателей богатств и сколько занимательных анекдотов! При свидании постараюсь передать тебе их, а покаду ограничусь описанием презабавного происшествия, которое хотя и не совершенно относится к Днепру и маршалу Нею, но довольно оригинально. На прошлой неделе мы с папа отправились под вечер на большую городскую дорогу пешком; воздух был свеж, комаров как-то меньше, а целью прогулки нашей была надежда встретить посланного за письмами и журналами. Не успели мы с версту отойти от села, как слышим в кустах прегромкое пение; такого рода обстоятельство не обратило бы на себя нашего внимания, но песня была не русская, а французский романс. «Кто бы мог быть этот певец?» – спросил с любопытством папа, и вдруг на опушке появился человек лет сорока, смуглый, невысокий ростом, но веселый и открытой наружности; на нем был какой-то мундир без пуговиц, соломенная шляпа и клетчатый плащ. «Salut, mon propriétaire!»¹¹ – воскликнул прохожий, проходя мимо отца, который, конечно, остановил его и засыпал вопросами: откуда он, куда идет и зачем. Господин в фантастическом костюме был француз, шел в город Minsky, и за таким делом, которого, конечно, ты никогда не отгадаешь. Не хочу тебя мучить, та сниге, и потому скажу, что это за дело. Один из родственников чужеземца завещал ему, умирая, бочонок с червонцами, закопанный умершим другом умершего же родственника на большой дороге между городом Minsky и Moscowa; признаком того места, на котором находился бочонок, была кривая березка с нарезанным на ней крестом. Папа не мог удержаться от смеха, слушая наивный рассказ француза, который с большим трудом согласился наконец, что с двенадцатого по сорок пятый год березка могла и быть вырублена, и даже заменена другою, не говоря уже о бесчисленном количестве деревьев, находящихся на пути от Москвы до Minsky, что, вероятно, значило Минск. Разочарованный прохожий задумался ненадолго и, помолчав, вдруг сам же стал смеяться над собою, называя и родственника своего, и себя такими уморительными названиями, которых я и припомнить не могу. Папа, сжались над ним, позвал его на несколько дней в Скорлупское, на что тот охотно согласился, и мы втроем возвратились с прогулки. Француза зовут Жозеф. На следующее утро мы нашли Жозефа в саду; вооружась лопатою, он взял под команду свою садовников и, никем не прощенный, распоряжался всеми работами. Поздоровавшись со мною, как со старою знакомою, он объяснил мне свои проекты касательно будущих улучшений цветника и принялся копать землю, напевая что-то; с садовниками объяснялся он частью на своем наречии, частью пантомимою; как бы то ни было, но его понимали и слушались. Папа, любящий все веселое, не только не мешал Жозефу приводить в исполнение его проекты, но дал себе слово не напоминать даже ему, что он гость, не имеющий ни права, ни причины хлопотать так много в месте, ему совершенно чуждом. Наступил час обеда, и Жозеф попросил стакан молока и кусок хлеба; от всего прочего, предлагаемого ему, он решительно отказался, утверждая, что много есть – дурная привычка. Гость проработал в саду до поздней ночи, выпил второй стакан молока, переночевал в роще, под открытым небом, и с рассветом не только себя, но и всех товарищей своих снова вооружил лопатами. Скоро неделя, как Жозеф у нас, и папа уже до того привык к нему, что

не может подумать равнодушно о возможности с ним разлучиться. По паспорту значится, что приятель наш эльзасский уроженец, ремеслом переплетчик. Нет в доме занятия, в котором он не брал бы участия; все слуги полюбили его; а я болтаю с ним по несколько часов сряду. Вот что значит, *chite Sophie*,¹² жить в деревне: всякий вздор занимает, всякое новое лицо – находка, которою дорожишь. Скромный ответ твой почту за доказательство, что письма мои тебе не надоели, и буду писать чаще.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Сию минуту вышла из экипажа, распечатала претолстый пакет писем, полученных с почты, отыскала твое, не прочла его, а проглотила с жадностью – и мне снова сгрустнулось. Охота тебе, друг мой, напоминать о всех прелестях петербургской жизни, и кому же? бедным обитателям М-ского уезда! Ты, *Sophie*, не великодушна, и месяц назад послание твое стоило бы мне много слез; но, увы! в эту минуту и ум, и чувства, и даже сердце мое охладели и притупились до того, что самая тоска не вырывает не только жалоб, но даже вздоха; я начала довольно благоразумно смотреть на светские удовольствия, и – о, проза! ценю здоровье выше радостей. Из слов твоих я заключила, что будущий сосед мой произвел на тебя впечатление, но скоро ли же прибудет к нам твой Старославский, и как не потрудиться было описать его подробнее? Объясняют ли что-нибудь слова: «очень мил, оригинален, интересен, и проч.» и к кому не приклеиваются подобные эпитеты? От нечего делать иногда я старалась представить себе этого Старославского, придавала ему качества всех прочих моих знакомых – конечно, порядочных – и потом, окончив идеал, спрашивала сама у себя, мог ли бы он понравиться мне, и всегда внутренний голос отвечал мне: *нет!* В самом деле, допустим, что молодой человек этот хорош собою, следовательно, глаза его или черные или голубые, цвет лица бледный, волосы черные, каштановые, наконец, белокурые, нос римский или греческий. А ум? Какого рода может быть ум Старославского? Серьезен – тоска; насмешлив, зол – обыкновенно; ум гостиний – пуст; ну какой же, спрашиваю? Первая встреча ограничится, разумеется, поклоном, двумя или тремя французскими фразами, остроумными *reparties*¹³ и описанием последних петербургских происшествий, балов, гуляний и прочее, и прочее. Но станет ли он ухаживать за мною? конечно, да! А нет – *опять тоска*. Допустим интереснейшее, то есть первое, предположение; не слыхала ли я уж сто раз всего, что скажет мне влюбленный Старославский? не встречались ли его будущие взгляды с моими взглядами, и не исчислены ли вперед все подобные случаи всеми романистами нашего времени? О боже! как ограничены у людей средства нравиться, и как дурно, как безрассудно они поступают, не запирая прекрасного пола нашего до минуты замужества в высоких, неприступных теремах! Но довольно об этом и в сторону философию. М-ский уезд, поверь мне, богаче новизною вашего блестящего света, и ты же, *Sophie*, просила меня продолжать мой журнал – я повинуюсь.

Дальняя родственница наша, Агафокля Анастасьевна Грюковская, считается одной из самых богатых и почетных дам в околотке; она вдова, толстая, красная, с маленьким лбом в парике, с бородавкою на левой веке, с белою бровью над правым глазом и с перстнями на всех пальцах; четыре дочери, столько ж приживалок, тьма слуг, плохих картин – все это помещено в длинном деревянном

строении с двумя крыльцами и бельведером. Когда мы подъезжали к деревне Грюковской, во всех местах, где мы останавливались, всюду говорили нам, что Агафоклея Анастасьевна ожидает нас с минуту на минуту. Сама же Агафоклея Анастасьевна уверяла нас в противном и показала вид удивления при нечаянном прибытии нашем. Такова деревенская политика! Ожидать – считается только что не унижением в М-ском уезде. Так называемые кузины мои могли бы быть не дурны; они с розовыми щеками; некоторые белокуры, другие брюнетки и все с прехорошенькими глазками и зубками (кроме старшей), но все так жеманны и аффектированы, что, право, смешно; для чего все это? не понимаю. Ни одного слова не скажут они просто, всякое движение головы должно быть заучено прежде, и восклицаниям нет конца... утомительно! Я спросила у старшей, презентимальной девицы, курит ли она. «Ах, как это можно!» – «Отчего ж?» – «Вы шутите, кузина; нет, наверное шутите: *mais c'est une horreur!*»¹⁴ В ответ на эти возгласы я зажгла папироску. Меньшие, впрочем, которых в семействе считают детьми, несмотря на их двадцатидвух- и двадцатитрехлетний возраст, довольно милы, но вертлявы и наивны через меру; они краснеют по заказу и делают из невинности род службы; волосы их подстрижены и завиты в кружок; одеты они в короткие платьица с черными шнурочками и коралловыми крестиками на шеях; они не ходят вовсе, а бегают. Старшая, Антонина, учнее прочих, литературные споры решаются ею; слова ее – закон для семейства.

Одинаковыми с нею преимуществами пользуется в доме, и даже в околотке, единственный сын Агафоклеи Анастасьевны – тридцатилетний брюнет с лицом молочного цвета, прозванный Купером, иначе Куприяном Савичем; Купер, или Куприян, так замечателен в своем роде, что нельзя не сказать о нем несколько слов. Он, во-первых, влюблен в себя до безумия; разговаривая тихо, протяжно и отборными выражениями, кузен мой как бы прислушивается с наслаждением к собственному голосу и только что не рукоплещет ему. Несколько литературных произведений, прочитанных только в семействе, доставили Куперу титул поэта, и он носит этот титул с самодовольствием и гордостью; по мнению его и Антонины, он имеет необыкновенное сходство с Байроном, потому что, подобно знаменитому британскому лорду, хромотает на одну ногу и очень редко стрижет свои ногти. Молодой Грюковский долго не являлся на зов матери, по словам которой, на него, как на всех поэтов, нападает по временам ужасная хандра, и тогда никакие земные побуждения недоступны его творческой, превыспренней душе – вот слово в слово тирада Агафоклеи Анастасьевны – вероятно, выученная ею со слов сына. Заключение это я вывела из последующих бесед моих с Купером. Ты помнишь, Софья, что я одарена способностью представлять всех и что некоторых я представляю в совершенстве; к числу последних, по всей справедливости, принадлежит молодой родственник наш. Я не только переняла манеры и голос его, но выучилась говорить его фразами; таких фраз ты не услышишь, конечно, во всю свою жизнь, если не познакомишься с самим поэтом. Например, выхваляя мой взгляд, он выразился так: «Кузина! как чудно упителен взор ваш и как гармонически потрясает он фибры сердца!» При этом Купер задвинул зрачки глаз своих за верхние веки, закрыл лоб рукою, покачал головой и, как бы в изнеможении, развалился в креслах. Слушая сына, Агафоклея Анастасьевна с торжествующей улыбкой поглядывала на меня, а Антонина вздыхала и делала из глаз своих почти то же, что и брат. Вот тебе очерк семейства, которое в М-ском